

Владимир Даль

Обмиранье

Неисповедимы будущие судьбы Руси — а широко раскинулся материк ее, и много простору обнял один язык, одна речь, один народный дух. Много мерзости запустения видится по грешному лицу ее, искажение внедрилось в человечество и бродит в нем из поколения в поколение — но вечного брожения нет, а упование не умирает. Тут и там глас вопиющего в пустыне, кой-где, в укромной тиши, среди потемков, искры, обдающие теплом и светом — и повсюду Божеское Провиденье, не покинувшее доселе народа своего и отвечающее на безумие премудростью: и в таких-то неожиданных искорках отрадно разгадывать предвестника зари будущего рассвета....

Чем дальше от столиц наших на юг и на восток, тем простор становится шире, и еще много, много видится тут умственно впереди.... Катишься по природному хрящу полотна, не устлана дорога золотом, не полита потом, чтоб железо ела, как говорится о щепенке, а так создана, какова есть; не глушит и пронзительный свист рыскающего парового зверя, не мчит он тебя вихрем, так, что света Божьего не видать, не кружит тебе голову от мелькающих столбов, решеток, значков и будок, а скачешь и катишься раздольно, льготно, оглядываешься на частые дубравы, на пологие зеленые скаты, на крутые берега, на дальние темные боры, на седой придорожный ковыль, на стерлитамацкие меловые горы, на синее плесо Белой, мелькнувшее внезапно с темени взлобка....

Так и я скакал когда-то, и коренной обитатель этой дикой, обильной стороны, башкир, поматывал кнутиком и тянул, уныло завывая, тоскливую песню свою. Дымок по ясному небу издалеча указал жильё, и это был городок, населенный казаками, мещанами, торгашами, немногими татарами и должностными по управлению лицами, окруженный хорошими селами, скопом переселенцев из десятка малоземельных губерний, даже из Украины. Подъезжаем вскачь, во весь дух — коли дымком запахло, то башкирской тройки на лычных вожжах не удержишь; гляжу — и сюда, и в эту глушь забрались былые порядки, и тут у въезда стоит застава, хотя огорожи нет ни какой и въезд во все улицы вольный; но караула нет, очень высоко приподнял журавлиный нос свой, расписанная клетками будка пуста; из нее торчит солома, вокруг бродят телята и гуси, а резвая коза, вскочив на очеп, осторожно пробирается по нему в гору, сама не зная зачем: вероятно, как англичанин, чтобы побывать там, где еще никто не бывал. Все улицы идут прямо вниз, к реке, и башкир промчал меня на лыжах под гору, с трудом заворотив, по запоздалому крику моему, лошадей и подъехав большим кругом к указанному ему домику с зелеными ставнями. Я ехал по службе, и эти зеленые ставеньки были издавна суточным приютом моим на перепутье.

Старушка, но еще крепкая и здоровая, с засученными по локоть рукавами, с кулаками в муке, хлопотливо выглянула из сенец на деревянное крылечко и рассыпалась в приветливых причитаньях.

— Ах, негаданный желанный! Вот кого Бог принес! Что давно не бывал? А у меня седни пирог с белорыбицею, да ботвинья с провесной, вот словно ждала дорогого гостя!

Старуха обнялась со мною и повела за руку чрез высокий порог в светелку. Тут все по-старому: широко разрослась розанель по окнам, а между нею тычком стоят бальзамины, вечно в цвету; столик с синею салфеткой, посреди которой сидит затканый белый петух, окруженный лавровым венком; желтый ситцевый диван, с которого, ради гостя, спешно сдернули чехол, и явились мирные картины возвращения в свои семьи ратников из-под француза: везде объятия, хлеб-соль, веселье, и право, Авдотья Власьевна не могла подобрать лучшего картинного узора для своего дома.

Хозяйка моя была женщина замечательная, а я знал ее уже давно. Все насущное имущество свое она заработала колотьбой и трудом, здравым смыслом и оборотливостью; правда, муж оставил, было ей на хлеб и на одежду, оставил ей и тесовую кровельку, под которою жилось уютно, да зятек сумел объехать тещу на кривых, прочитав полуграмотной доверенность на забор товара для торга на сотню рублей, а дав подписать дарственную запись на дом, на скот и на деньги, которые ею розданы были, по обычаю, в рост. Доброе дело это обнаружилось для Авдотьи Власьены не прежде, как когда уже зятек, прогуляв все, стал без обвиняков гнать ее из дому. Кроме этой замужней дочери, у нее был еще малолетний сын, которому она и прочила именице свое. Поняв в чем дело, узнав, что все долги давно собраны зятем и что сама она живет в чужом доме, Авдотья Власьевна долго не думала; по ее убеждениям, нельзя было не разругаться за это с зятем, а затем надо было позаботиться о себе и о сыне.

— Где у тебя Бог твой, — сказала она зятю, — аль ты думаешь, что Он каинских дел твоих не увидит? Увидит Он все, зятек, помяни меня, не даст Он младенца в обиду, не оставит его без приюта; а ты, да я еще и глаз своих не закрою, как ты накланяешься братцу своему, отопчешь пороги его! А ты, донюшка, не величайся своим гильдейством, а знай, коли твоя вина тут есть в этом деле, то и ты недолго набарствуешь, радехонька будешь братские полы подмыть!

Кончив таким образом эти расчеты, Авдотья Власьевна перекрестилась, вышла с ребенком из дому и дала зарок: не знать покоя, ни днем, ни ночью, покуда не воротит сыну отцовского наследья.

Водворившись у кумы, она первые дни провела не без дела, поминая зятя не добром, по поводу беседы с советчиками и соболезнователями, которых было не мало. Но, поуспокоясь и сказав: «Бог с ним», она ободрилась, сосчитала небольшие деньжонки свои и решила торговать для заработков. Доселе она была домостройка, скопидомка, славилась умением печь пироги, да готовить суточные щи, кои замораживались и снова переваривались, а теперь принялась за торговлю в разъезд: купив пару добрых коней и справив две упряжки, она поехала с двумя возами орехов, на кои в тот год был урожай, в Оренбург, и взяла с собой сына и еще работника. Это город степной, где дынь и арбузов много, а орехов нет; Власьевне едва дали стать на базар, как уже молва разнеслась по городу, что орехи в привоз, и две подводы очистили, расхватили их до скорлупки. Одну телегу нагрозила она арбузами, другую кишмишом и урюком, да бухарскою красною выбойкой, которую народ так любит, за дешевизну и прочность ее, потому что она в носке мало уступает холсту. И Власьевна не довезла своего товара до-дому, все дорогой разобрали: на ягоды кидались торговые люди, для развозки по сельским базарам, а на выбойку бабы, в каждом селении. Воротясь с пустыми возами и одними гостинцами куме восвояси и встреченная вопросами о том, как Бог помог, она только смеючись головой поматывала да отмахивалась руками: «Ты ништи у меня, молчи, —

приговаривала она сыну, – небось, Господь сироты не покинет!» И опять поехала она с орехами, да с возом лука, и так же вернулась с бухарским товаром, а по перевозимью повезла орехового масла, меду, соленых груздей – всего этого нет в степном месте – а воротилась с уральской рыбой и икрой, товаром дорогим, который перекуплен был у нее купцами и пошел в Уфу.

– Никак обозы Авдотьи Власьевны пришли! – говорили шутники, когда ночной скрип полозьев раздавался длительно под окнами.

– Да, – отвечал другой, – поди вот, какую силу забрала, ведь скоро в город у нас купца не будет с оборотом против нее

– Старательна больно, – заметил третий, – да смышлена, опять же, знать, и Господь постоял за сироту, ведь уж больно пьянюшка этот обидел старуху!

– Крепка в слове, – объяснил еще другой, – сроду никого не обманывала, да и сына тому же учит, вот с нею и торговые все лучше дела-те делают чем с любым купцом; барыши барышками, да ведь на торг они с убытками на одном полозу ездят; наш брат малосильный чуть подойдет, по грехам своим, ну и кинутся все нарасхват, и подшибут; а вишь ей верят, не жмут, все только кланяются, почет отдают, знают, что все сроки исполнит.

– Вестимо, – отозвался еще один, горемычным голосом, – без веры не торговля, а колотьба; мощну-ту убьешь на товаре, а перехватить-то и нечем!

И доездила-таки Авдотья Власьевна до того, что выкупила родовой домик свой, пропитый разгульным зятем, исправила, ухитила его, убрала уютно, записала сына в гильдию, передала ему всю торговлю, наказав ему не поминать зятя лихом и считать нажитое ею за отцовское наследье. Поправив и устроив дела таким образом, она сама уселась на покой. Ей чрез улицу шапку снимали, а к обедне идучи, она едва попевала на все стороны раскланиваться.

– Что тебе, Власьевна, давно не видать на нашей стороне? – спросил я. – Аль по рыбу боле не ездешь?

– Полно мне, старой бабе, по большим дорогам мыкаться, слава Богу, свое дело сделала: за свою простоту потрудились, чужой грех покрыла, отцовским благословеньем сынка не обидела, стало быть, Господь милостив к нам; пусть теперь Прокопий Андреевич сам за себя постоит; я все дела ему передала, пусть сам заправляет.

– А где же у тебя Проня? – спросил я.

Старуха зорко на меня поглядела, хитро прищурилась и шепотом сказала:

– На след красного зверя напал, так вишь порошей выслеживать поехал!

– Вот как, среди красного лета да порошей! Это ты, Власьевна, загадками глаза отводишь? На какого ж он красного зверя позарился, сказывай!

– А кто его знает, на черного ль соболя, на белую ль горностайку, его воля – вот увидим.

– Ну, дай Бог любовь да совет, коли так, вот и Проня твой заживет не получеловеком, малый он славный, да ты же его добру и учила; а по нраву ль тебе невеста?

– Тебе вот все до ноготка, всю запазушную расскажи! Ему ведь жить с нею, а мне только гляючи радоваться; сказывают, не то чтобы в окно подать, а хоть кому на ладонке поднести: и умница какая, и до сиротства жалостлива; пред Пасхой, сказывают, отцу насупротивничала, а все из-за этого ж дела: ты, тятенька, говорит, мне мантона-то не справляй, мне не надо, а ты вот бедняков этих пристрой! А отец-то, сказывают, нравный такой, а дочь-ту любит, и выпросила-таки, отец старшего

парнишку, сироту, к себе в лавку взял, и о других позаботился. Уж дал бы Господи этому делу устроиться, так бы я поглядела еще, поколе Богу угодно, на голубчиков своих, да и посылай Господь по-душе, да принимай ее, милосердный.... А ты не объезжай нас и впредь, пусть и детки порадуются тебе, а ты на них!

Год спустя о ту же пору я опять мчался по тому же пути; день был праздничный, и вся природа, казалось, праздновала его. Было тепло, но не знойно, тихо, но не мертвый застой; легкая встречная тяга воздуха обдавала прохладой и незаметно уносила докучную путнику пыль, глаза свободно глядели на мир Божий, ширяя по закрию, и чувство раздолья вздымало грудь. Бездна дичи оживляет здесь воздух, поля и леса: стаями сидит краснобровый полух на любимой насести своей, на сухой придорожной березе; думчиво тяжелый мошник покачивается на макушке островерхой ели; шумно вырывается внезапно из-под ног боровой кулик, подымаясь столбиком в гору; по быстрым ключевым потокам, как тень мелькая, стрелою проносится золотистая форель и пеструшка, не сближаясь потому только с каспийским осетром, что увалень этот обложен поголовщиной на уральское войско и ему дорога кверху перегорожена непропуском; но на почве этой захожему гостю, оленю остяцкой тундры, случилось сталкиваться с горбатым степняком, караванным верблюдом.

И опять-таки башкир промчал меня на лычной упряжи под гору, мимо обычного пристанища моего, зеленых ставенок, и с трудом вразумил упрямую тройку свою, что надо опять подняться в гору, воротясь назад. День был праздничный, обедня отошла, улицы полны разряженного народа, все завалинки усажены пестро и нарядно разодетыми казачками, мещанками и крестьянками, а мужчины, в халатах и кафтанах в накидку, расхаживали туда и сюда. На завалинке, пред домом с зелеными ставнями — на коих увидел я обнову: расписные горшки с цветами — на завалинке сидела молодая чета, кровь с молоком: Проня, в красной канаусовой косоворотке, в черных плисовых шароварах, а молодая его, статная светло-русская, так и сияла в шелковых переливах; голова ее повязана была малою или гладенькою головкой, купеческою повязкой; кончики косынки надо лбом продеты были в алмазный перстенок, а сверх васильковой головки этой накинута был легкий кисейный платочек, захлестнутый концами под бородой. С детским любопытством глядела она на чужого приезжего во все глаза, а Проня, узнав гостя, бросился высаживать его из тарантаса, подозвал жену, крикнул в окно матери. «Ничего, Серафимушка, — продолжал он, когда та, потупясь, чинно раскланивалась, — подойди да поцелуйся с гостем, ничего, барин знакомый, вот какой знакомый, ровно свой!» Проня нудил меня в избу, ухватил чемодан мой, напирая им на меня, из усердия, сзади, а тут выбежала старуха, и обнимаясь, всхлипнула, но удержалась, и стараясь подавить чувства свои, суетливо повела под укромную стреху свою. Это бурное волнение и взрыв не могли быть вызваны, как прямою причиной, моим приездом, и я оглядывался с каким-то беспокойством. Вошли и сели, праздничный самовар не только был уже на столе, но, казалось, уныло допевал протяжную песенку свою, собираясь уснуть, да и в хозяйствах было что-то молчаливое, тоскливое, неловкое; старуха говорила коротко и сухо, и как будто даже облик ее изменился; сын молча вздохнул раз и другой; невестка, потупя очи, робела, и унося допевающий самовар, боязливо покосилась на свекровушку свою, не зная, угодно ли ей она делает.

Мне стало грустно. «Кто же это из вас, — подумал я, и сам потупил глаза, — кто провинился, кто разрушил благодатный мир и покой за зелеными ставенками, на

коих, будто напоказ, расцвели алые и лазоревые цветы, между тем как за ними душа томилась, жизнь блекла? Ведь не ты же, прямой и добродушный парень, от которого не было матери иного ответа, кроме: «Как знаешь, матушка, воля твоя, как хотите»; ведь и не Серафимушка, которая не красовалась бы этой кроткой умилкой на щеках, если бы рушила и свой, и семейный покой; так неужто же ты, чтимая всеми, старая доброжелательница моя, разумная, богобоязненная, неужели ты сама подкапываешь и зоришь дом, тобою воздвигнутый?»

Между тем соседи дважды прибегали звать хозяев на вечерки, но молодые тихо отказывались.

— Чего нейдете, — сказала мать, — я и без вас гостя угощу, слава Богу, не впервые!

Я вздохнул. «Не родительская речь это, Авдотья Власьевна, — подумал я, — и не добром она звучит; знать злой кикимора раздора вытеснил твоего исконного сдружливого домового и поселился за изращатой печью, которая, бывало, так приветливо на меня глядела своими синими, нехитрыми кувшинчиками, по три цветочка в каждом!»

Молодые ушли, но не как уходят на вечеринку, а будто из-под неволи, робко и грустно. Я сидел молча, вслед им глядя. Убрав самовар, старуха села подле меня, как и в былые годы, с чулком, и также молчала; казалось, мы оба придумывали, с чего бы завязать беседу.

— Авдотья Власьевна, — спросил я без обиняков: — что это у тебя в дом делается?

— Чай сам видишь что! Пословица не спроста говорит: материно сердце в детках, а детское в камне! Уж я ль его не любила, не жалела, уж я ль ему не была днем денною печальницей, в ночь ночною богомольницей!

Договорив это через силу, старуха вскрикнула и горько зарыдала, накрыв лицо руками. Знать сильна была кручина, что одолела стойкую, крутую бабу и прорвалась обильными, жгучими слезами.

— Да скажи мне на милость, — продолжал я, отводя мокрые руки ее от залитого слезами лица, — скажи мне, Власьевна, что же это у вас случилось, какой некошный мутит в доме? Кто причиной это горя, ведь не Серафима же, тихая, кроткая, которую ты сама так хвалила....

— А в тихом-то болоте бесы водятся, — горячо перебила она, и заплывшие слезами глаза блеснули недобрым блеском.

— Власьевна, ведь не похожа Серафима твоя на гнилое болото, воля твоя!

Старуха вспылила так, как я и не видывал — много, стало быть, наболело и накипело на этом горячем сердце.

— Что бела да румяна, да бровь черна, так и не похожа! А что мне в красоте-то ее, не воду пить с лица! В людях красоваться, так было маком сидеть, а пошла замуж, так тут потешка иная, а про то забудь! В людях смиренница, а дома змея запазушная! Неужто мы в орде живем? Да и там старших-то почитают!

Я молчал, а Власьевна, после короткой перемержки, продолжала:

— Тихоня она эдакая, и сына-то от меня отворотила! Правду говорят, что по дочери зять помилеет, а по невестке сын опостылеет! Таков ли он теперь до меня, каков был? Из рук моих глядел, бывало, слова супротивного не слыхивала от него.... Что, не веришь? — продолжала она, зорко в меня вглядываясь. — Да она, слышь, и в девках-то тихоней, смиренница эдакая, смотрела, а отца под свой нором гнала.

Заартачится, говорит, не хочу я ничего, не хочу обнов, а вот сделай то и то; старик и сам человек нравный, и туда, и сюда, нет, обойдет-таки его, на свое поставит.

Навязалась на нее какая-то лохмотница, попрошайка, да еще и с ребятишками, и довела таки отца до того, что пристроил их всех, кого куда! Вот пошла было она и у меня верховодить, да нет, я ей воли не дам, я ей сразу всю правду-матку высказала, я ведь перегородя рыло, говорить не люблю. Вот она и притихла тебе, словно добрая какая, а шуры-муры пошли да пошли! Ты чай, Пшеницыну Феклу знаешь? Ну, хозяин ее, торгуя, перехватил вишь у меня об Рождестве сотню, а на маслену Бог по душу послал, помер; хватъ-похватъ, денег нетути, товар по рукам роздан, стали допрашивать хозяйку — а та что, вестимо бабье дело, кроме печи да запечья ничего не ведает! Как у них там дело было, не знаю, только потянули заимодавцы Феклу мою во все стороны, известно, кому своего не жаль! Она и приходит ко мне плакаться, да речь заводит о сиротах, а у меня тут и без нее на сердце накипело; я ей и говорю: «Да мне что, Фекла Андреевна, дети твои, а деньги-те мои». Гляжу, а моя-то, что вишня, раскраснелась, с назолу на меня; вот и пошла она сгоряча, не то уламывает меня, не то учит уму-разуму.

Зло взяло меня, я и говорю: «Знаем мы, невестушка, что ты из молодых да ранняя, только ты мне в моем доме не указчица: мы твоих то золотых гор еще не видали, а нашим добром не распоряжайся». Опять смолчала Серафима Ивановна, а как пошла от меня Фекла, гляжу, встала за нею невестушка моя: я пождала, да и сама приотворила дверь в сенцы, и слышу голос ее: «Ты-де, тетушка, не кручинься, с малолетних сирот отцовских долгов до возраста искать не станут, а я вот упрошу свекровушку свою за тебя, и мужа просить стану, он послушается меня...» Ладно, мол, красавица моя, ладно, где сладкою речью не возьмешь, там змеей прошипишь! И хлопнув дверью, я пошла к себе. Что она там после сынку моему насказала, не знаю, не была я при том и грешить не хочу, только стал он от меня отшатываться, и ее-то с собою уводит, а коли дома, то словно всякое слово мое сторожит, ровно ее оберегает от ведьмы какой, прости Господи! А мне что, коли мать-родительница через эту смиренницу опостылела, так и Бог с ним! — Так закончила с притворным равнодушием, обманывая самое себя, огорченная старуха.

Но из всех слов этих я убедился, что эти семейные нелады, прямо ведущие ко вражде непримиримой, основаны на одних только вздорных, пустых недоразумениях, в коих, несмотря на все достоинства свои, виновата одна Власьевна. С горячею любовью хлопотала она о женитьбе сына, готова была, для счастья его, на всякую внезапную жертву, но не уяснила себе будущего положения и отношений своих, а положившись на Бога, что-де авось все пойдет тогда хорошо, сама не приняла на себя для этого ни каких обязательств, не сознавала никакой перемены в доме, глядела на невестку, как на новую картинку, прилепленную к стене, безгласную, немую, а на сына, как на того же беззаботного парня, которого надо растить, холить и поучать, ни в чем не давая воли.

Пока сердце человека не затронута страстью, не распалено, оно судит и рядит здраво, не только по рассудку, но и по верному чутью; тут ум и сердце заодно, раздору нет, благодатный мир покоит чистую совесть; но коль скоро кремневая самотность даст искру о стальную грань внешнего мира, и вспышка распалит сердце, то оно становится слепо и глухо, и тупо к мудрой правде, оно слышит только себя, оно ненавидит все, что не может с ним согласоваться, и впадает в безумие. Своей вины мы никому не прощаем. Давно ли старушка моя, умная и добрая, хвалилась

благостыней Серафимы, давно ли ставила ей милосердие в великую заслугу, говорила, что заступнику нужных Сам Бог пособник, а теперь, позабыв речи свои, те же дела ставит ей в укор, ненавидит ее за них и гонит со свету!

— Авдотья Власьевна, — сказал я наконец, — не знаю сам, что тут говорить, это вас некошный помутил: помолимся Богу, дай, я вас помирю!

Старуха встала с места и повторила:

— Ты помиришь? Нет, отец родной, — продолжала она с твердостью, — ни ты, никто живой человек не помирит нас, а разве один только Господь!

— Подлинно так, Авдотья Власьевна, — отвечал я, — дело это Божье, не наше. Горе горькое выжало из меня бахвальную речь эту, а сам я вижу, что тут человеческим умом ничего не сделаешь.

Скучно показалось мне в этом доселе радушном домике, будто я попал в чужие люди, на чужое место, и сам стал не свой. Я послал за лошадьми; почти молча мы простились со старухой — слезы душили ее, и смутная дума потянулась вслед за мною: уныло вторил ей поддужный колокольчик, по звуку более сходный с боталом, в котором по временам путалось и заплеталось клепало, обличая неровную побегушку коренной.

Смеркалось вовсе, и мы катились по дороге, что по полотну, молча. Наконец возница мой соскучился, и оглянувшись, спросил: «юрланм-ме? замет, что ли?» — «Юрлай, — отвечал я, будто проснувшись в раздумье, — пой, твой волчий вой не будет рознить со строем души моей». Башкир, будто мехом, потянул в себя дыханье, позадержал его и залился плачевным высоким голосом, словно издали по ветру донесся звучный стон, под конец замиравший; затем последовал однообразный напев, на слова местного народного сочиненья: «Сакмар быстра, бреуна тулста, икмяк да иок, капрал да сок!»¹ и — под конец дело завершилось начальным протяжным воем.

Не развеселила меня эта песня, сложенная, как все народные песни, никем, хотя и поется всеми. Отчего же самый благонамеренный, ретивый и честный начальник покидает за собою такую память? Отчего, спрошу прямо, из стольких десятков переменных начальников губерний нет ни одного, о коем бы на месте большинство отозвалось признательно и любовно? Издали указывают, как бы завидуя друг другу, на того или другого с похвалой; былых и давних поминают иногда добром; но налицо таких не бывает. Был один такой, близкий мне человек, так скоро надорвался, обезумел и Богу душу отдал. Был и другой, так этого довели до неистовства, и он стал править кулаками. Знал я и третьего: он честно бился, до изнеможенья, а потом стал править отписываясь и рассчитывая, сколько ему осталось служить до пенсии. Сквозь трущобу корысти, бездушной лени, несознания за собой никакого долга, сквозь грязный слой привычной, обиходной лжи, сквозь целые горы письма не пробьешься, ни снизу, ни сверху; задавленные всем этим, мы ждем только больших okazji, чтобы прокричать «ура», задать обед на славу, и очень заботимся о том, чтобы праздник этот, прощальный или встречный, праздник, на

¹ Лесная и дровяная торговля в степном Оренбурге была в одних руках, и цены, как полагали, произвольны и высоки; чтоб устранить это зло, основана была казенная дровяная торговля, со сгоном леса башкирами, по наряду. Дело кончилось обогащением нескольких казачьих чиновников, обнищанием многих башкир, большою смертностью в сгонных командах, еще большею против прежней дороговизны дров, и разорением лесопромышленника, который кончил жизнь свою в землянке, на кладбище, где поселился божедомом и хоронил своими руками покойников, во время страшного холерного мора. Память его жива донныне и проживет долго.

котором мы забылись и перевели дух, был обстоятельно пропечатан во всех ведомостях. Этому описанию задушевности никто не верит, никто его и недочитывает, но дело закончено в порядке и сдано в архив...

На какой бестолковый бред однако же, навела меня заунывная песня башкира, которую я, будучи не в духе, назвал волчьей песенкой! Но дело в том, что года через три, четыре после этого со мною случилось то, что, говорят, со многими бывает: внезапно мелькнуло во мне чувство, будто я вторично переживаю какое-то мгновение прошлого, будто все, что во мне и со мною, сбывается вторично.

Я быстро оглянулся, очнулся, и увидел, что еду ночью на башкирской тройке, что возница, в островерхой валяной шапке, завывает: «Сакмар быстра, бреуна тулста», мало того, увидел, что подъезжаю к тому же месту и вскоре помчусь под гору, к домику с зелеными ставнями!

Нечаянная встреча задержала меня однако же на несколько часов по соседству, и знойное солнце стояло уже высоко, когда я остановился у знакомых ворот, запертых, на сей раз, будто никого не было дома, да и в окнах, несмотря на почтовый колокольчик, никто не показывался. Я вошел в калитку, взошел на крылечко и оглянулся: сенцы усыпаны были свежую, пахучую травой, на коей сидела краснощекая, белокурая девочка, заботливо выбиравшая синие колокольчики, алый душистый горошек, белую кашку, укладывая их ворохом у себя на коленях и напевая про себя: «Алый цвет, алый цвет, скажи, любишь или нет?» Глядя на такого ребенка, мне всегда думается: сколько мира и непорочности дается человеку в задаток будущности его, как свято и цело блюдется оно, доколе еще сердце и думка не рознят между собою, и какое бурное волнение в нем возникает с того часу, когда он начинает сознавать личность и самостоятельность свою! Какое врожденное сочувствие к этому мирному младенческому быту отзывается в тайнике души каждого, утратившего это состоянье, даже в самом грубом и черством сердце!

— Здравствуй дитя, — сказал я тихим голосом, чтобы не всполошить ребенка. Малютка вскинула на меня ясные карие глаза, в коих отчетливо отразился взгляд матери ее, а облик — в губках и в умилке на щечках.

— Здравствуй, — повторил я, переступая порог; девочка вскочила, тихо проговорила: «здравствуй», кивнула головкой и попятилась.

— Как тебя зовут?

— Внука, Душарка, — проговорила она и бросилась бегом мимо меня на двор.

— Где бабушка? — кричал я ей вслед.

Но Душарка, оглянувшись на меня и ничего не отвечая, вскочила через растворенную калитку в огород и скрылась в густом, рослом бурьяне. Я глядел ей вслед, с высокого крылечка, из-под навеса на резных столбиках: трава раздавалась и колыхалась над головой беглянки, струясь за нею, как вода за ныряющим утенком.

Пошедши этим следом, я услышал зов ее: «Баба! Баба!» Все вокруг меня было в полном росте: в воздухе стоял запах укропа, огурцов, медунки и липы в цвету, подсолнухи подставляли щедровитое лицо свое прямо под палящие, знойные лучи; янтарная смола топилась и висела ожерельем на золотых лепестках; под липами и старою, нависшею ивой стояли улья, пчелы дружно гудели целыми роями; нежась на солнце, носились они над высокою травой, избирая себе между пестрыми головками лакомый присест; кузнечики трещали вокруг в своих закоулках; звонкий, однообразный напев иволги раздавался в конце огорода, где густая посадка ив указывала на болотистый ручей. «Баба! Баба!» — продолжала покрикивать визгливым голоском малютка, и на грядах, как из земли выросла, явилась привставшая Авдотья

Власьева. «Асеньки?» — откликнулась она ласково, протянув руки к бегущей встрече девочке, с трудом выбравшейся из высокой травы и прыгавшей по грядкам: «Асеньки мой!» Старуха подхватила внучку налету, вскинула ее высоко и, уложив на руки, зацеловала.

— Здоровенько ль живешь, Власьева! — крикнул я издали.

Она стала всматриваться в меня, застенив глаза от палящего солнца ладонью. Я подошел вплоть к ней, прикрыв лицо шапкой, и вдруг спросил:

— Не признаешь, что ли?

— Ах родимый, баженьый, моленый! То-то слышу я, голос знакомый, словно свой, а в лицо-то и не признаю, супротив солнца, а в глазоньках-то свет уж тусклый, родименький, старость приходит, хоть хворать больно не хвораю, да уж ветшаю; а все Бога благодарю!

Пошли мы в избу; догадливый ямщик, не дожидаясь распоряжков, вкатил тарантас мой под навес и отпряг коней.

— Проня дома у тебя? — спросил я. — Аль в торговле?

— Нет, уехал с невестушкой на богомолье, к Девятой Пятнице.

Заметим, что эта явленная икона Богородицы, на Девятую Пятницу после Пасхи, обходит полгубернии, и к этому кочевому шествию стекается бездна народу со всех сторон, и каждое населенное место всем населением своим провожает ее от себя до ночлега.

— Мои со вкладом поехали, — продолжала старуха, таща за собой девчонку, которая, то подпрыгивая, то волочась по земле, мурлыкала песенку, — говорят, надо-де Бога благодарить, за милосердие Его. Пойдем-ка, Душарочка, да самоварчик поставим для любого гостя, чайку заварим!

— Ну Авдотья Власьева, — сказал я, — у тебя растет внука бесприданница, гляди какая красоточка будет!

Старуха радостно улыбнулась, по привычке своей повертела от удовольствия головой и с важностью сказала:

— Вся в мать, вот вылитая Серафимушка! Младенец смиренный, жалостливый, что хошь попроси, все отдаст, изо-рту пряник вынет, отдаст, как есть мать!

Эта речь изумила и умилила меня до крайности: стало-быть, в эти годы много пережито в этом домике; нет и следа безнадежного, отчаянного раздора, над коим и вчуже надрывалось сердце, господствует любовь да совет... Молча я призадумался и потупил сидя глаза, будто боялся разочарованья. Между тем в кухоньке подле, несмотря на притворенную дверь, раздавалось сопенье кузнечного меха: это Авдотья Власьева раздувала самовар, а по временам слышался тонкий голосок Душарочки.

— Стало-быть вас внука помирила и внесла благодать в семью, — сказал я наконец управившейся с самоваром хозяйке.

— Нет, не внука; хоть и ангельская душа, а не она: сказывала я тебе, коли помнишь, что кроме Бога, никто не помирят — так оно и вышло: это, как есть, дело Божье! Кабы не Он, не Его милосердие, мыкали б мы горе по век свой. Ну, дай срок, я все поразкажу тебе, без утайки, что и как было.

Усевшись за самовар, я раз-другой от нетерпенья закидывал словечко про это дело, но Авдотья Власьева, кивнув головой, отвечала только: «дай срок!»

Наконец, убрав самовар и уложив Душарку спать, она задумчиво уселась против меня, подперлась локтями, уставила глаза прямо на меня, и начала:

— Чай слышал ты поговорку: сердита кобыла на воз, а прет его и под гору и в гору? Вот так-то и мне жилось в доме, все опостытели, и невестка, и сын по ней, и

не глядела бы на Божий свет. Встанешь ранком, и лба не перекрестишь, а уж она тут; и утром вместе, и в обед вместе, и вечер вместе — хоть в землю уйти, одна б отрада была! Инну пору и словечка не молвит, а все кажись поперек стоит, только душу мутит. Так маялась я изо дня в день, доколе Господь не смиловался надо мной. Вот Он, душеспаситель мой, и послал мне немочь, болезнь смертную, и уж вижу я под конец сама, что умираю. Дай, поколе еще Бог памяти не отнял, распорядюсь всем добром своим, пусть и по нас поживут, не поминаючи нас лихом; не обидела я и дочки, хоть зятек уж никуда не стал годен, и еще кой-кого помянула, и расписать все велела сынку, а остальному всему он же сам законный, прирожденный наследник остался; позвали отца духовного, и он руку приложил; приобщилась я и поновилась от него, после исповеди, святым причастием, и говорю, вот-мол и слава Богу, совсем; и детей благословила, да уж почитай слова не могла вымолвить, стал язык отниматься и память обмирать.

— Понимаю, Власьевна, стало-быть, тогда-то ты с Серафимой простилась и помирилась, — сказал я.

— Не мирилась я, грешная ни с кем, — отвечала горячо старуха, — а ты слушай: мне думалось, что обидели меня дети, что Господь взыщет с них за это, а мне попомнит, как я ему денно и ночью печаловалась! Ты слушай: вот и стало мне к утру таково тяжело, где-где дохну; да и то не во всю грудь, ни туда, ни сюда, ни живота, ни смерти, и очи мои закатились, и обмерла; ни губами, ни пальцем одним не пошевелю, бровью не поведу, все во мне замерло, и слышала я, как последняя горячая струйка крови пролилась, сердце стало, не бьется, сама не дышу — вот она смерть какая бывает, подумала я, — прими Господь грешную душу мою! И умерла!

Вот лежу я, покойница, и думаю себе: где же я это, на этом свете, или на том? Словно ангелы небесные ликуют вокруг меня, да не близко, издалече, а ничего не вижу. Тут слышалось что-то около, будто голос соседки: «Преставилась голубушка наша, помяни, Господи, во царствии Твоем душеньку рабы твоей Евдокии!»

Прибежали сын и дочь, а невестка в ту пору по родам в постели лежала, ее сын не пустил; поднялся плач, вой, причитанья, а я лежу, словно каменная, ни живчика во всем теле моем нет — и словно мне их и не жаль; слышу, руки мне складывают, обмывать собираются, — что ж это, и вправду, неужто так люди умирают? Пришел и зятек, поглядел видно, постоял, и слышу, говорит: «И заживо мало радости от нее видели, и померла горе не велико!»

Тут сторонние люди корить стали его, а меня, дай Бог им здоровья, добром помянули. Так-то лежа я тут много чего наслушалась, а все-таки видно люди Бога боятся, больно лихом не поминали! Народ поразошелся, все стихло, и сынок ушел готовить, что нужно, матушку свою хоронить. Вот я слышу, кто-то крадучись пробирается ко мне в горницу, словно по стенке бредет, и стонет про себя, да подошедши к кровати, бух, на меня, прямо на грудь ко мне, и охватило меня что-то горячими руками, и припало к лицу горячим лицом; а слезы, кипень кипнем, вар варом, что капель вешняя со стрехи, так на меня ливнем полились, и на щеки, и на грудь, и на лицо. Господи, думаю, кто это такое? Аль доченька горемычная опять вернулась, чтоб одной по себе наплакаться? Слышу, всхлипывает, да шепотом причитает; что мол голос ровно Серафимушкин, а чего ровно, она и есть! Она, сердечная, с ложа мук и болей встала, и ноги не держат, а приплелась, как все в избе опустело, приникла жарким ликом на грудь ко мне, и истекает слезами... «Мамонька моя родимая, открой ты свои грозные оченьки, погляди ты, каково-то мне

без тебя горьким горькошенько! Видит ли душенька твоя правду мою, все нутро мое, ты видишь ли, веришь ли злой невестке своей?» Так-то голося, она все крепче и крепче ко мне припадает, так и прижимается... Ну, отец родной, что со мной деялось тогда, не дай Бог и ворогу татарину, ни другу, ни недругу! Стало меня ретивое корить, адским огнем палить, и жалостью одолела смертная, жалость такая, что вот бы в ноги так и повалилась ей, обняла бы ее, как и сына родного не обнимывала — да не могу ни суставчиком мизинца пошевелить, ни знаку-признаку подать... Долго ли мы так лежали, не знаю — а она видно уж и сама ослабела и притихла... Вдруг, словно оторвалось что во мне, словно жаль моя камнем тяжелым от сердца отвалилась, и стала подыматься, подыматься, да и вырвалась вздохом из уст моих, и ожило сердце во мне, и очи отворились...

...Что после было — не спрашивай, и сама не знаю; сказывали, что нашли нас обеих без памяти, и прохворали мы обе долго: я-то стала на радостях бойчее оправляться, а она, после родов, да с испугу, что мамонька ожила под слезами ее, пуще было расхворалась, и сама в забытии была, да уж я ее тогда отхаживала; а на душе-то у нас стало таково тихо и радостно, потому вишь, что Ангелы Божьи обмиранье это навели на меня, чтоб я грешная досыта ласки Серафимушкиной наслушалась, а то бы я никому, никому в том не поверила. Вот тебе, отец мой, все дело как оно было, и с тех пор, все мы сам-третьей живем душа в душу, друг у друга из рук глядим, тишь да гладь, да Божья благодать!

Мы оба долго молчали. Та ли это тревожная, сумрачная, подозрительная старуха, которая видела вокруг себя одно коварство и затаенную злобу, которую и самое съедала ненависть к близким сердцу ее, та ли это мать, в отчаянном, безутешном положении? Мне казалось, что и самое лицо ее с тех пор изменилось, любовь и покой изгладили суровые черты и провели свою приветливую бороздку. Видно, не перемена места нужна для счастья нашего, а перемена состояния души нашей, и постылое станет милым, и человек, сам не ведая как, послушит себя духом в Небесном Царстве.

«Много искажения внедрилось в человечестве, но кой-где и кой-когда, в укромной тиши, впотьмах, просвечивают искры света и тепла, и повсюду Божеское Провиденье, не покинувшее доселе народа своего, отвечающее на безумие премудростью». Это было началом, и это же пусть будет и конец нашего рассказа.